

Дмитрий ГАРИЧЕВ

Дмитрий Гаричев родился в 1987 году в Ногинске Московской области. Окончил МГЛУ, работает переводчиком. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Ното Legens», «Воздух», «Волга», проза – в «Октябре».

СКАЗКИ ДЛЯ МЁРТВЫХ ДЕТЕЙ

Побег

Вацлав выманивал Лену на свой Кипр, но она не далась и теперь возвращалась с озёр по чёрной после дождя дороге с бауманцем Ильёй, не подозревавшим о её жертве. У Вацлава в его пятьдесят были вавилонские планы завести непременно семнадцать суррогатных детей, он по полчаса держал и мял в своих ладонях её лёгкие пальцы, и предугадать, что с ней станет на Кипре, не взялись бы ни мама, ни сестра. Илья же едва ли мог чем-то её озадачить: за эти месяцы, что они катались по тёмным местам, добывая истлевшие вымпелы, Лена свыклась с его мелочным недовольством и бессвязными рассказами о бывших подругах, в которых он сам плутал, как в подземелье, никогда не выговаривая чего-то, что ей было важно услышать, но и это в конце концов перестало её волновать.

На озёрах у них был костёр и убийственный «Вранац», взятый по скидке в поддержку республики Сербия, а потом они упустили автобус, и Илья разорался на пустом осеннем шоссе, хлопая крыльями дождевика. Чтобы успеть в Москву к ночи, теперь нужно было добраться хотя бы до трассы, а там ловить что придётся: пристыжённые неудачей, они пошли сквозь дырявенький лес, как со школы домой. В июле Лена протаскалась с Вацлавом ночь по бульварам, они пили пятизначное вино, не страшась патрулей, и сейчас ей было жаль, что об этом нельзя говорить. Вацлав знал об Илье и, наверное, сквернословил над его синячками фотографиями в сети, но при ней не позволял себе никаких реплик, был вообще терпелив и не целовал её ниже переносицы, а Илья вовсе не представлял, что за люди бывают в её салоне на Цветном, а если и представлял, то, скорее всего, не верил, что кому-то из них может быть любопытна оценщица Лена с руками как длинная белая трава; это было удобно и сложилось так само по себе.

Ветер ещё зарывался, и небо никак не светлело; они помахали двум нагнавшим их автомобилям, никто не притормозил. Бледный запах, летевший из леса, отсылал к детским дачам, своим и чужим, Лена прикрыла глаза на десяток шагов, но ни с Вацлавом на бульварах, когда Москва поворачивалась к ней как никогда, ни с Ильёй в незнакомом лесу, тоже будто бы разрешающем многое, ей всё не удавалось себя отпустить. Если нормально вернёмся, заговорила она, я хочу ещё выпить и ещё походить. Это сейчас тебе кажется, отозвался Илья, а на Курской ты выйдешь и попросишься домой. Да, согласилась вдруг Лена, и поеду одна с банкой «Балтики», и проснусь в Петушках. Кто-то катил навстречу, и они потеснились к обочине; вынырнувшая «семёрка», как у отца, но помойного цвета, проскочила их и остановилась недалеко позади. Лена подумала, что если сейчас ни один из них не посмотрит туда, то всё будет в порядке, но Илья сперва зашаркал подошвами, а потом обернулся, и «семёрка» бесшумно приблизилась к ним задним ходом, совсем никуда не спеша.

Говнюков было четверо, и они предлагали, чтобы Лена поехала с ними; все они были видимо младше и не здоровее Ильи, вообще неизвестно что прячущего там под

дождевиком, и даже не пытались изображать деловую небрежность: по всему, это была их первая охота, к тому же заставшая их врасплох. Лена столько раз видела эти лица на вечерних платформах, что теперь не могла до конца испугаться, её только клонило в сон. Тот, что стоял ближе к ней, сделал было пробный шаг, но Илья мешковато заступил ему дорогу, и все снова замерли; чё ты двигаешься, запоздало дёрнулся кто-то из дальних с квадратными, как у автомата, губами: в голове не укладывалось, что и этот мог что-то хотеть от неё. Ей вздумалось набрать сейчас Вацлава, чтобы тот объяснил этим сиротам, но телефон лежал в рюкзаке, они бы набросились, если бы Лена полезла туда. У Ильи же как будто вовсе не было мыслей, Лена чувствовала, как он деревенеет под дождевиком: оставалось лишь ждать, когда это почувствуют и говнюки, и не станут его даже бить, а просто уберут с места, как лишнюю мебель. Она даже ткнула в него коленом, чтобы снова включить, и Илья в ответ громко скрипнул зубами: этот звук рассмешил говнюков, они все как-то стремительно зашевелились вокруг них и заулыбались, так что Лене наконец стало действительно страшно, и тогда же со стороны озёр на дороге взялся грузовик, почти роющий низкой мордой неровный асфальт.

Четверо не слишком смутились, а водитель как будто не собирался вступать в разговор, несмотря на отчаянный Ленин взмах, но ему пришлось сбросить скорость до пешей, чтобы объехать собрание; уже задыхаясь от поднявшихся слёз, Лена бросилась из-за Ильи, толкнулась ещё и повисла как кошка на задранном борту. Двое рванулись достать её, двое нырнули в машину, но оставленный без присмотра Илья оказался проворней, всё же он фехтовал, да и здесь никому не был нужен, и, опередив бежавших, повис рядом с подругой, руки их выпростались по локти из всех рукавов. Он вскарабкался в кузов первым и подтянул Лену; внутри шарахались перевязанные вороха картона, было много свободного места, и они улеглись лицом к покинутым говнюкам, не решившимся их настигать.

Что бы ты сделала, если бы я не успел зацепиться, спросил Илья, когда никого уже не стало видно: стукнулась бы в кабину, попросила бы подождать? Но ты же успел, сказала Лена, не повернув головы. Ты была так уверена, не отставал он, или тебе было всё равно, успею я или нет? Знаешь, подумав, ответила Лена, мне казалось, что ты прыгнешь первым; то есть – не понял Илья. Просто – прыгнешь и прыгнешь, что ещё оставалось: угрожать им? махатья со всеми? позвонить на какой-нибудь номер из тех, на которые мне положено отвечать по ночам и из туалета? что ещё было делать? Лена перевернулась и села, обняв гуляющие колени, в кузов снова посыпался дождь. Успокойся, подсел к ней Илья, я не нападаю, я сам ошалел. В последний раз я дрался в школе перед выпускным, и это было не очень удачно. И у тебя с собой не было шпаги, подсказала Лена, или хотя бы лыжной палки. А у тебя вязальной спицы в рукаве, нашёлся Илья, помнишь это кино; Лена не помнила, но кивнула ему в ответ.

Они без остановки проехали обе пустые деревни, за которыми предстояла развилка на трассу и в соседнюю область; когда грузовик повернул налево, они счастливо выдохнули, и Илья наконец взял её ледяную руку, но спустя всего сотню метров возник ещё поворот, и машина соскочила на просёлок, тянувшийся далеко между совсем бесцветных к вечеру полей. Илья перебежал вперёд и постучал по обшивке кабины ладонью и чуть погодя кулаком, но ничего не добился: грузовик ехал так же, больше не отвлекаясь на них. Он обернулся и увидел, как Лена сидит с исчезающим лицом и прижимает рюкзак к себе так, словно надеется, что тот пожрёт её здесь же.

Шатаясь на досках, Илья вернулся к ней и почти упал рядом: нужно прыгать, не поедем же мы до конца, он, наверное, думает, что и так слишком нас выручил, чтобы теперь останавливаться, где мы попросим. И куда потом, выдохнула Лена, мы вернёмся на дорогу, которая ведёт к трассе, и там поймаем попутку с теми самыми чуваками? Нет, давай мы останемся ночевать у него в гараже вместе с крысами, разозлился Илья, хорошо,

если он у него вообще есть; почему мы должны снова встретиться с теми уродами? Я не знаю, закричала Лена, а почему мы должны были встретить их сразу после озёр, почему у нас нет с собой даже травмата; я переночую где угодно, я никуда не хочу.

Просёлок ушёл ещё вправо, дождь потух, и лес стал опять приближаться: чёрный ельник, похожий на береговую глыбу, обросшую илом; если мы слезем здесь, заговорил Илья, то сможем выйти к бельковской ветке, это около десяти километров, но это сквозь лес, ты потянешь? Десять километров до полумёртвой ветки, и потом ещё пять до платформы, где ничего нет, огрызнулась Лена, и сперва ещё будет неплохо ничего себе не поломать, охерительный план, не хватает только водки, но, может, нам где-то ещё попадётся магазин. То есть ты хочешь ехать, пока ему не надоест, не смирялся Илья, но ведь это какой-то придурок, с какого он не тормозит; но в лесу он всё равно не поедет больше первой, мы спрыгнем, ты слышишь меня? Слышу, крикнула Лена, тебе просто насрать, я даже не сказала, готова ли я валить через лес до железки, но какая разница, ты же всё уже придумал; а ехать одна неизвестно куда на ночь глядя я действительно не хочу. Илья ничего не ответил, разобрался с замком и откинул борт, загремевший на ходу так, что говорить стало всё равно невозможно.

Они въехали в лес ещё резво, но чуть вдавшись вглубь грузовик, как и обещал Илья, сбросил газ и поплёлся, тяжело болтаясь на мокром песке. Ну и что, воскликнула Лена, куда мы пойдём, здесь всё равно одна дорога, это бред; но Илья почти сгрёб её за воротник, и они вдвоём подобрались к грохочущему борту, из-под которого летели жирные брызги песка. Сперва ты, скомандовал он ей на ухо, сбрось рюкзак и потом сама, только не на прямые ноги; Лена хотела снова закрыть глаза, но раздумала и, не став долго выжидать, прыгнула вместе с рюкзаком. Её опрокинуло на спину, лес пугающе вырос и темно зашумел в голове, но она быстро поднялась и успела увидеть, как Илья падает на вытянутые руки, пружинит и вскакивает, и падает снова, а их мусоровоз наконец останавливается в десятке шагов: откинутый борт его перестал гроыхать, стоп-сигналы расцвели по бокам изумительным красным.

Грузовик стоял, не глуша мотор, стиснутый тесной хвоей и низким кустарником; они замерли каждый на своём месте, не глядя друг на друга. Лена представила, что сейчас из кабины выйдет водитель Вацлава и пристрелит их вместе или только Илью, а её увезёт или бросит в лесу, но дверь не открывалась, мотор работал, обступающие деревья казались завёрнутыми в мокрую шерсть. Обмудок, наконец подал голос Илья, мы стучали тебе, ты не остановился, чё ты хочешь теперь, за проезд передать? Осмелев и ещё приговаривая что-то злое, он попробовал было обойти грузовик, чтобы заглянуть в кабину, но не смог пробраться сквозь заросль, притих и подошёл к Лене, та покачала головой. Но а как я мог знать, что он встанет здесь, засуетился Илья, мы можем, конечно, обойти его, но мне как-то стрёмно оказываться к нему спиной, что ещё ему взбредёт. Ради чего это, возразила Лена, предложи ещё всё-таки повернуть к трассе; ты же видишь, он ждёт нас. Илья покраснел, как всегда, когда он был готов раскричаться, но спросил удивительно тихо и страшно, как будто заранее смиряясь с любым возможным ответом: Лена, что всё это значит, ты узнала кого-то, что происходит? Уже дико устав, она расхохоталась, не узнавая собственного смеха, и Илья, очевидно, от ужаса, быстро шлёпнул её по лицу; тогда она, всё ещё смеясь, спешным шагом вернулась к грузовику, поднялась внутрь и легла, и захлопнула за собой борт.

Она успела сосчитать до двухсот, пока голос Ильи перестал доноситься, но и тогда не захотела устроиться сидя: ельник над ней сменился долгой и всё ещё шумной берёзовой рощей, потом был короткий пустой промежуток, за ним мелькнул мёртвый сосняк, испугавший её своими стальными когтями, а после машина опять очутилась на ровной дороге и поехала дальше мимо бесконечных столбов. Стало задывать, и Лена достала из рюкзака шарф; здесь же попалась выкупленная вчера у салона первая

«Зависть», которую она взяла показать Илье, но не вспомнила ни в поезде, ни у костра, это было уже не обидно. Сразу за теми металлическими соснами они разминулись со встречной машиной, судя по звуку, такой же тяжёлой, а теперь на шоссе было пусто, как на луне. Она проверила телефон, но от Ильи не было даже проклятий, а от остальных и подавно ничего; часы показывали начало седьмого, но вечер как будто не двинулся вглубь с тех ещё пор, когда они стояли с приозёрными говнюками: в этом словно бы слышался слабый голос угрозы, якобы тем четвертым оставлялся ещё шанс настигнуть её, но усталость была сильнее, и она прикрыла глаза, надеясь задремать.

Её опутал вялый, дачный сон без звука и цвета, и когда она очнулась с застекленевшим у рта потёком слюны, то увидела над собой строгие тополя и за ними совсем ненадёжное небо: всё не перегорающий вечер высосал его до последней белизны. Пахло яблочной падалью, ржавой водой: приподнявшись на неверных руках, Лена выглянула за борт. Они стояли в квадратном поле, затянутом мелкой травой, наискосок пролегал пешеходный отрезок из чёрных резиновых плит, один конец которого уводил к голым яблоням, а другой к нескольким трёхэтажным домам, о которых отсюда мало что можно было понять. С мутной после короткого отдыха головой Лена выбралась на траву, перевязала поплывший шарф и пошла в сторону домов, ей хотелось додуматься, как назвать их окрас, сиреневый с перепадами в рыжий, но это было так же сложно, как понять, горит или нет свет в их окнах, пока высохший день висел над землёй, как хитиновая скорлупа на невидимой нитке.

В глубине маленького двора темнели остатки летней эстрады, вокруг которых скользило некоторое движение, как и в приближавшихся окнах, но, когда Лена переступила границу двора, всё погасло, и встречный ветер улёгся. Со скамьи перед самой эстрадой свисала газета, развернутая как будто на телепрограмме, и она подошла посмотреть, но и здесь обозначилась: на бумаге, похожей скорее на обёрточную, единственно стояла большая чернильная девятка. Сорное электричество, росшее в воздухе, клонило обратно в сон, она села на край скамьи, ещё соображая. В доме за спиной наверху вспыхнула короткая ругань, Лена даже не успела обернуться; зато ей получилось увидеть, как в поле размытые сыростью дети бегут от яблонь к грузовику, чтобы спрятаться в нём и под ним.

Телефон оказался разряжен, и Лена подумала, что можно оставить его здесь, на поруки гудящему воздуху; бросать же рюкзак было страшно, проще казалось раздеться совсем. Было слышно, как где-то смотрели футбол и хлопали по мебели, так делал когда-то папа, правда, под биатлон, и она поискала глазами, откуда был звук, ничего не нашла и опять заскучала. Только теперь ей стало видно, что половины стёкол в домах просто нет, но те, что ещё оставались целы, не должны были её подвести. В оставленном поле снова метнулись дети, кто-то из них выкрикнул «Нет же!», и Лена поднялась как будто навстречу этому крику, но решила не возвращаться, а лучше проверить хотя бы один из подъездов и набрать в нём хотя бы воды.

В первой же квартире, уже в коридоре, её встретил заставленный книжный шкаф, она засмеялась так громко, что на лестнице выругались; там были советские собрания, синие и розовые, нарядный хлам, похожий на орденские планки: то же самое было у них дома до тех пор, пока Лена не начала выкупать приглянувшееся ей в салоне, и в недолгое время один мёртвый груз заместился другим, но уже не таким разноцветным. Влажный полумрак не давал разобрать фамилий, а когда она потянула за один из томов, тот не поддался; она дёрнула соседний, и тот устоял; то же самое оказалось на всех шести полках, книги были как сплавлены между собой. Разозлившись, она заправила ногти за первый попавшийся корешок и рванула его вниз; он легко отодрался, и на полку, а с полки ей под ноги потёк мелкий серый песок. Лена шагнула назад и состучала то, что попало на

кроссовки; но песок продолжал течь, уродливый холм расплзлся на полу, в глубине квартиры раздалась и потухли шаги, и она поторопилась вернуться на лестницу.

От стычки со шкафом у Лены совсем пересохло внутри, и при мысли, что из здешних кранов тоже, может быть, льётся песок, или соль, или уксус, ей впервые с приезда стало не по себе. Она выбежала во двор, вспугнув полупрозрачную кошку, и застыла, озираясь, пока не разглядела колонку на дальней от поля границе двора. Подойдя, она легла на рукоять всем оставшимся весом, и из металлического горла раздалось мышинное сипение, доносившееся с какой-то последней глубины; она отпустила её и нажала снова, колонка отозвалась ясным трубным звуком, на который должна была бы явиться советская конница, и Лена отпрянула почти что в слезах, но вернулась и в третий раз, навалилась ещё, скрипя зубами, как Илья на дороге, и, когда почти чёрная струя хлестнула в сточный жёлоб, она едва успела отскочить, спасая джинсы.

Казалось немыслимо, что её козий прыжок никто не заметит, она сжалась под курткой, готовясь к насмешкам, но ниоткуда не донеслось ни фырчка; это её укрепило, и, зайдя теперь с безопасной стороны, она снова впряглась в колонку, чтобы слить черноту и дожидаться нормальной воды. Грязь извергалась так долго, что Лена почти сдалась, она успела прочесть про себя все стихи, что помнила наизусть, но потом струя всё-таки начала светлеть и ещё через время она наконец набрала свою велосипедную бутылку. Окажись здесь Илья, он отправился бы поискать в туалетах пузырьки с запрещённой марганцовкой, Лена решила, что сделает так же; если бы ещё оказалось возможно зажечь где-то плиту и погреть над ней хотя бы руки, задубевшие от колонки, то на этом она бы могла успокоиться. Она выбрала дом напротив того, где уже побывала, и поднялась сразу на третий этаж, где в темноте коридора белела единственная дверь. Стараясь быть бесшумной на дощатом полу, она подступила к ней вплотную и уткнулась лбом в полотно, как в кота.

По ту сторону звучало неразборчивое радио и будто бы лязгала в мойке посуда; когда Лена вошла, эти звуки исчезли или так и остались внутри отворённой двери, но на кухне слышно горел газ, и она прошла туда, не решившись разуться в прихожей с румынской маской над зеркалом: такие порой наугад приносили в салон, но всегда уносили обратно. Стульев на кухне не оказалось, и она оставила рюкзак на столе, подержала руки над огнём и распахнула навесной шкаф, из которого хлопнулась пачка окаменевшего риса, а в открывшемся месте стояли бок о бок зелёнка и йод, но не марганцовка; без особой надежды она проверила ванную, но и там не нашлось ничего, кроме ровно сложенного на полу полотенца. На всякий случай она выкрутила оба крана над умывальником, но тоже впустую, и вернулась на кухню, где сперва захотела отыскать кастрюлю, чтобы прокипятить добытую во дворе воду, но потом, уже не помня себя от досады, открутила крышку и стала пить так. У воды был тягостный земляной привкус, Лена скоро прервалась и села рядом с рюкзаком; в голове качалась детская пустота, руки опять замерзли.

Под окном проходила гряда гаражей, по-военному строгих и как будто не вскрытых, трава перед ними казалась утоптанной, но сойти туда для разбирательств сейчас было лень. Уже свыкшись с мыслью, что ночь так и не приблизится к ней, Лена всё же решила, что ей нужно нормально поспать, и отправилась посмотреть комнаты: в первой стояла, уродливо оскалясь, швейная машинка, вторую перегораживал гардероб с обрушенными дверьми, и только в третьей, где окно было кое-как спрятано за скупой занавеской, её встретил остов односпальной кровати, похожий скорее на гроб с фанерным дном, а у стены напротив сидела огромная плюшевая собака без головы. Лене сразу захотелось вышвырнуть её, но та отказалась сдвигаться с места; уже догадавшись и всё равно зверея, она вернулась на кухню за рюкзаком, вынула складной нож и распорол собачий живот, песок радостно хлынул наружу. Перешагнув, Лена сняла куртку и кое-как

расстелила её внутри деревянной коробки, сложила шарф в подобие подушки и осторожно легла, ноги пришлось подобрать. Сон пришёл быстро, ещё перед тем, как раскроенная собака успела иссякнуть и сдуться.

Ей приснился фест вроде того, на который она сорвалась ото всех в начале лета, рассчитывая вдруг на знакомство, способное выдернуть её и у Вацлава, и у Ильи, но так никого и не пустила в палатку; во сне играл «Пилот», она непонятно зачем находилась у сцены, и счастливая толпа волна за волной прижимала её к ограждению с такой силой, что в голове каждый раз звенел школьный звонок, а лысая охрана следила за ней так, будто она раздевалась для них, а не корчилась на решётке. Проснувшись она от того, что на улице оголтело долбили по турнику, но когда Лена выглянула в окно, то уже никого не застала. Понять, сколько она проспала, было вряд ли возможно, снаружи длился всё тот же обесцвеченный вечер, собачья оболочка лежала на куче песка.

Вспомнив про телефон, она накинула куртку и спустилась во двор: тот благополучно лежал на прежнем месте, показывал полную батарею и два пропущенных вызова, оба от мамы; не вполне зная, что говорить, она перезвонила. Лена, предупредительно отозвалась мама, ты можешь торчать где угодно, я не собираюсь тебе мешать и лечить потом не собираюсь тоже, но во вторник приедет сборщик, и если ты не уверена, что к тому времени вернёшься, то хотя бы давай объясни, как тебе что расставить, чтобы потом не было очередного скандала. Пусть ставит как получится, сказала Лена, мне всё равно, если я не захочу, я просто не стану там жить. Я тебя поняла, ответила мама, спасибо. Лена отключилась и теперь рассмотрела, что на том этаже, где она спала, вывесили пододеяльник, на котором даже с земли был различим серый казённый штамп: вид был настолько позорным, что она скорее сбежала со двора за дом и оказалась перед угольными гаражами, о которых уже успела забыть.

Собранные из широкого металла, они напоминали минные корабли, не хватало лишь флажков на завершениях крыш; в любой из них вошло бы по грузовику много больше того, на котором её привезли; словно кожаные, их бока маслянисто лоснились. Двери замыкала целая паутина из засовов и штанг, и даже случись при Лене ключ, она не нашлась бы, куда его вставить; эта сказочная механика, превращавшая двери почти что в печатные пряники, вдохнула в неё восторг, она сделала на телефон несколько снимков, а потом рассмотрела, что чуть ниже уровня глаз в каждую правую дверь врезано ещё по одной, размером с тетрадку. Эти были заперты на простую задвижку, Лена легко открыла ту, напротив которой стояла, и в маленький проём свесилась гроздь седоватых волос, пересыпанных редкими перьями. Она тронула его пальцами и отступила, решив не проверять, что лежит за другими дверьми.

Плещущий над двором пододеяльник был ей ненавистен, и Лена отправилась наверх, чтобы снять его: в этой квартире была всего одна комната, зато с неслыханной мебелью, упирающейся в потолок чёрными арочными веерами. Терпеть это одной было больше нельзя, она сделала ещё фото и выложила одним постом вместе с личными, а потом, спохватившись, наконец сняла пододеяльник с балкона. В комнате было не на чем спать, но на кухне остался диван-уголок, над которым держалась советская чеканка с морским коньком, а к подножью плиты был приставлен крохотный чугунный утюг. Всё это так сходилась, что она не откладывая забрала из прежней квартиры рюкзак и попавшееся под руку большое ведро, набрала воды для уборки, согрела ее на плите, нарвала тряпок из чёртова пододеяльника и в недолгое время отмыла что было можно отмыть, не рискуя, однако, соваться в санузел. Закончив, она достала «Зависть» и положила на чистую полку подальше от окна, села посреди комнаты на пол и взяла телефон: фотографии нравились многим, но никто ни о чём не спросил, и только приятель из городского лито, куда они оба ходили детьми, цитировал под постом самого себя из тех самых времён, Лена не стала лайкать.

Понемногу она устроила всё, как хотела: у соседей слева нашлись два тонких стула, из других домов были принесены лампа в виде скорее изысканной урны, чем вазы, журнальный столик на трёх лёгких ножках, железный подсвечник и всё-таки румынская маска. На новом месте перестали сниться сны, а побудка с турников звучала не так бесцеремонно, но всё равно не стихала до тех пор, пока она не вставала к окну, откуда, как ни тянись, ничего не было видно. Ровный свет, одевающий местность, уже не томил её, не мешал ни засыпать, ни просыпаться; воду из колонки уже не нужно было сливать по десятку минут, но земля ощущалась в ней так же, как прежде, сколько ни кипятить.

Освоившись, Лена стала бегать сперва вокруг посёлка, по периметру, выложенному всё той же чёрной резиной, а потом, осмелев, начала выбираться за рощу, на пустое шоссе; полевые дети увязывались за ней, рассыпаясь в ельнике, когда замечали, что она смотрит через плечо. Она добегала до голого места, откуда были видны памятные ей мёртвые сосны, здесь привычное небо начинало сбойть, упрямо темнея с каждым метром, и она поворачивала обратно, в свет. Уже никого не рассчитывая впечатлить, она выложила ещё немного снимков с пробежек, и в конце концов прошлый сокурсник спросил «это где??»; Лена какое-то время раздумывала, а потом написала «на кипре».

После одного из забегов, давшего ей неожиданно тяжело, на неё навалились давно позабытые сны: глупое происшествие на папиной машине, обрывки пожара в музыкальной школе, ночь на Курском вокзале с южными чемоданами; она несколько раз вскидывалась на узком диване, надеясь услышать стук по турнику, но во дворе была тишина, и морок снова уносил её. Потом ей приснилось, что она разглядывает себя и видит, что вся её кожа стала точно такого же цвета, как здешнее небо: старая газета, закапанная молоком; но прикоснуться к ней было так сладко, как будто она одна укрывала если не всех женщин мира, то уж точно всех летних девочек с ВДНХ из второй половины двухтысячных. Задыхаясь, Лена сложилась пополам, обняв себя за бёдра, и тогда-то ужасный турник загремел ещё чаще обычного, словно на этот раз к нему подоспели сразу два звонаря. Она вскочила к подоконнику и стукнула по нему кулаками, боль пронизала руки; но внизу не успокаивались, турник заходился набатом, и Лена, не справляясь с подкатившим ужасом, бросилась на крышу, чтобы хотя бы иметь лучший вид.

Во дворе и вблизи гаражей было пусто, ничего не горело и не уходило под землю, и она уже хотела выкрикнуть какое-то проклятие, но увидела всё же, что в поле рядом с грузовиком припаркован бронзовый «кадиллак» Вацлава: он однажды отвёз её до самого дома, умудрившись не застрять в их проулках. Турник утих, но весь воздух уже был захвачен тревогой; улёгшись, она продолжала следить: Вацлав в рыжем свитере вышел из машины вместе с охранником, они вместе вытащили наружу Илью и ещё одного длинного пассажира, в котором она, поразмыслив, узнала того школьного гения, что цитировал сам себя под её фотографиями. Их с Ильёй отправляли, как она понимала, вперёд, и школьному гению это не нравилось; охранник хотел толкнуть его в голову, но тот успел отпрыгнуть и яростно побежал через поле к роще, ему никак не стали мешать. Оставшийся Илья, лучше всех понимавший в подобных местах, поднял голову к крышам: Лену он увидеть не мог, но ещё повертевшись, Илья двинулся ровно к её дому, а за ним и Вацлав.

Запереться на крыше было нечем, она ринулась в люк и почти упала в подъезд, но бесшумно, и скользнула к себе, не особенно зная, что делать: если они обойдут все квартиры, не выпуская из виду лестницы и двор, у неё не получится скрыться; если спасаться к сараям, её, вероятней всего, перехватит охранник, а если каким-то чудом ей удастся добежать до леса, то кто знает, не встретится ли ей там дезертировавший школьный гений со своими стихами. Всё это заставляло её цепенеть, и она с великим трудом сделала несколько безопасных шагов к кухонному окну, в которое уже просились пугающе знакомые голоса, их почти можно было потрогать руками. Уже не боясь выдать

себя, она поставила на дежурно горящий газ ковш с водой, чтобы ей было чем плеснуть в первого же, кто поднимется сюда.

Когда Илья позвал её снизу подъезда, она спокойно сняла воду с плиты и спокойно же села на диван, чтобы он не подумал, что его кто-то ждал: дверь была ровно напротив неё, кипяток был по правую руку, ему стоило только войти. В той же куртке, что и на озёрах, с красивым бессонным лицом и дурацким фонариком он возник во тьме проёма как на краю обрыва, сперва посмотрел на огонь и только затем перевёл взгляд на Лену, ещё ждавшую первого шага, но Илья свернул в комнату, слышно удивился обстановке и по известной привычке захлопал шкафами; ещё через минуту он снова появился в проёме, пряча в куртку единственный годный хабар, её «Зависть», обернулся ещё и наконец вошёл в кухню: Лена опоздала схватить кипяток, Илья раньше дотянулся до плиты и выключил газ. Она ненавидяще выдохнула, Илья снова взглянул на неё, на лице его проступила растерянная опаска, и он, отшагнув, исчез в лестничной тьме.

Спустившись за ним, Лена застала всех троих посередине двора, Вацлав страшно орал, Илья отвечал, как мог; обойдя их подальше, она поднялась на останки эстрады, чувствуя себя девочкой на уличном конкурсе, и уже оттуда смотрела, как они возвращаются в поле, держась на расстоянии друг от друга, и Вацлав шагает спиной вперёд и кричит ещё что-то совсем сумасшедшее, ей казалось, что это пена брызжет у него изо рта. Разворачиваясь, они слышно зацепили грузовик, и Лена засмеялась в невидимый микрофон; следом из засадной рощи вынырнули дети и осыпали уезжавших гнильём, тем пришлось торопиться. Вечер был трепетен, кожа его не кончалась; давно не приходившая кошка вспрыгнула к Лене на сцену и жарко прижалась к ногам.

Цветение печали

Возмужав, мы вернулись на те же лодочные станции, где сновали в прежние годы, слушая пустой кандальный лязг: лодок здесь так и не завелось, воду укрывала столетняя пыль, в изголовье пруда стоял ровный, как стекло, туман. В детстве мы рассказали здесь друг другу достаточно бредней о сомах, стерегущих подводные клады староверов, об утопленных детях, вмешивающихся в чужую игру, и теперь оба делали вид, что не помним об этом. На другом берегу белел вытертый пляж, за ним высоко хлопало стрельбище, следом поднимался грядами лес, за которым не было уже ничего.

Те полтора года молчаливой розни, что остались у нас позади, я провёл в тусклых хлопотах: умер живший на отшибе города отец, нужно было расчистить под сдачу квартиру, забитую под потолок коробами с приборами, мёртвыми лыжными мазями и неясными радиодетальями; разумеется, всё нельзя было просто снести на помойку, мы искали, кто купит хоть что-то, и дело затягивалось бесконечно. Это был унижительный труд, не принёсший нам почти ничего, и мне совсем не хотелось говорить о нём: мой товарищ заслуживал лучшего, и я врал ему о почти напечатанных книгах и подругах, с которыми почти смог переспать.

Он стоял рядом твёрдо, как крепостная башня; во всём городе едва ли мог найтись человек, способный его пошатнуть, кроме разве что Виктора, занимавшегося с матерью: тот знал нужные точки на теле, а пальцы его вязали узлы из десятисантиметровых гвоздей. Мать же бесстыдно пила с самого развода, и Виктор, друг путаной юности, вселялся к ней раз в полгода на пару недель, объявлял сухой закон, учил как-то дышать, менял краны и за кадык сводил с лестницы поселковых собутыльников. От него мой товарищ получил в подарок остяцкий нож и самодельную книжку Рериха, которыми дорожил так же, как дедовой «Лейкой», уже несколько десятилетий сиявшей без дела за дверцей серванта. Выдержки Виктору, как уже было сказано, хватало ненадолго, и скоро

он выметался прочь, в знак отчаяния обрывая занавески, а то обдирая обои; товарищ поправлял повреждённое и какое-то время пытался удерживать линию санкций, но мать неумолимо соскальзывала в обжитую пропасть, всё было напрасно. Прошлой осенью она нет-нет да попадалась мне у их подъезда, завернутая в пальто, как в кусок рубероида. Сосредоточенно-плывущее лицо её всякий раз было обращено к недостроенному бассейну на другой стороне улицы, словно она пыталась и всё не могла прочесть чёрную надпись на кирпичной стене:

ЗДЕСЬ СТОЯЛ НАШ ДОМ
28 ЧЕЛОВЕК УШЛИ НА ФРОНТ, И
НИ ОДИН НЕ ВЕРНУЛСЯ

Я двигал мимо, не стараясь понять, узнавала она меня или нет. Я был зол на них всех: на неё, на стариков, растивших её сына и неспособных объяснить ему, как он был мне нужен; никто не догадывался, что от нашей размолвки смысл исчез из всего, что вообще было в городе и ещё могло в нём появиться. Он отпал от меня в конце долгого глупого года: весной и летом я ещё как-то смирялся с его бесконечными выездами в соседний Посад к подцепленной на концерте дешёвке, но осенью он стал дополнительно пропадать на гитарных чердаках близ полигона, и это оказалось окончательно невыносимо. Задыхаясь от собственной правоты, я однажды поднялся с ним в чёрное место, где подонки с улыбками демонов переставляли короткие пальцы на грифах, и провёл там весь вечер: я не понимал их разговоров, не знал, что мне делать, но он, сидящий рядом в дутой куртке, он принадлежал им, огромный, тёмный. Когда он брал инструмент в свои руки, мне казалось, что я рассыпаюсь в мелкий сосновый песок. Мы возвращались к себе через залитый луной лес, досада донельзя разбухла во мне, и посередине дороги я рухнул спиной в снег, чтобы мой товарищ наконец остановился; пролежав молча несколько секунд, я заголосил: кто, кто вся эта петушня, зачем, зачем ты с ними; ничего толком не отвечая, он потянул меня встать, и я, рассвирепев, сдёрнул с него шапку и бросился с ней в деревья, ненавидя его и себя.

Он настиг меня в два-три прыжка, опрокинул в ледяные кусты и блестяще вырвал шапку из вспорхнувшей руки. Лишённый всего, я улёгся глубоко в снегу, готовый покончить тут же, но он впрягся и поднял меня на ноги, и весь оставшийся путь корил за безрассудство, живописуя в подспорье кошмар менингита: бабушка была врач, он знал толк в страшных кончинах. Его рассудительность заново укладывала меня в ватный гроб, из которого я только что был добыт. Поздние огни проступающего посёлка сочлились детсадовской мукой. Выбравшись из лесу, мы холодно разошлись по домам и с тех пор не звонили друг другу, а встречаясь раз в месяц на улице просто кивали и шли себе дальше.

Следующей весной, после смерти отца, я много скандалил в школе, исцарапывал парты кинжальным углом железной линейки, навязывался в недалекие компании, ничем не лучшие, чем та чердачная свора, приставал к самым униженным и проклятым, надеясь разведать затравленное течение их пуганых душ, но ни в чём особенно не преуспел. Палачи были тупы, а жертвы совсем безнадёжны. Серые пришкольные яблони, где меня когда-то радостно валяли всем классом после уроков, не внушали мне больше ни печали, ни ярости. Ещё через год, не ломая многих копий, я поступил на незавидный филфак, с сентября его могучая глушь раздалась в полной мере, и мне было светло и никчёмно в обратных электричках, с голым карандашом против Софокла и Еврипида, более никому не известным на всём направлении. Закрыв глаза, я видел, как слова опадают вглубь меня, словно листья в открытую шахту лифта, и мне было спокойно от мысли, что та никогда не наполнится.

Спустя две недели, шагая домой со станции, я разглядел моего большого человека: он ожидал автобуса в центр, один среди сдавленных пенсионеров, в толстовке с анархией, длинные его волосы стекали свободно. Я спускался к нему с моста, истощённый чтением, оставляя за спиной клонящееся вечернее небо, и то, как всё это должно было выглядеть, подстегнуло меня: достигнув остановки, я приблизился к нему вплотную и упёрся головой в тёплую грудь. Мой товарищ захлопотал надо мной, как Антигона, он был заметно тронут и растерян, как будто боялся, что скажут о нас колышущиеся пенсы, но я не отнимал от него головы. Всё разрешил подоспевший автобус; большой человек обещал позвонить завтра же, завтра, и наконец мягко отстранил меня и полез в транспорт, держа наготове социальную книжку, удостоверяющую потерю кормильца. Его отец умер давным-давно.

Назавтра настала суббота, и он честно набрал меня в десять утра: мы ушли на пруд со счастливо пустыми руками, как в каком-нибудь детском году. За те месяцы, что мы провели без возможности приглядеться друг к другу, лицо его налилось мутной тяжестью, видимо, от сигарет: было сложно испытывать прежнюю нежность, но этот подкожный свинец, накопившийся в нём, был и ясным свидетельством долгой разлуки, неизвестно кому из нас давшейся легче. Он рассказывал, что научился играть, как будто протягивая к нам нить, оборванную той зимой; его былые чердачные подельники отвалились, но завелись новые, и я был признателен ему уже за то, что он не угрожал нас познакомиться. Та, к которой он ездил в Посад, кончилась ещё раньше, чем те с чердака; после неё он попробовал ещё нескольких из других городов вроде Щёлкова и Электрогорска, но все они были вполне одинаковые и в конце концов утомили его: на девятое мая он в последний раз выехал в Щёлково и с тех пор больше не занимался таким. Его оставляли ночевать в дружеских проходных и зрительных залах, и он засыпал, гоня в плеере очередную самопровозглашённую дичь, подсунутую местными. В прошлый новый год до него докопались в Лосино-Петровском, он размазал двоих и не стал догонять третьего (он же не снял с тебя шапку, сказал я, и он улыбнулся), и, опасаясь засады, возвращался полями почти наугад, промёрз и схлопотал воспаление лёгких; старики выходили его в своей квартире, но пока это длилось, оставшаяся без присмотра мать запила как ещё никогда, и ему пришлось разыскивать Виктора, чтобы привести её в какое-то внятное чувство. Виктор вряд ли любил её, у него был другой интерес; он спал на полу рядом с её кроватью, водил её в лес и на баскетбол, читал с ней Куприна и Андреева, почти точно заранее зная, что у него ничего не получится. Они стоят друг друга, внезапно произнёс мой товарищ, и я ещё острее понял, как мне не хватало его всё это время.

У воды было ветрено, солнце уже истончилось, но лес оставался по-военному крепок; мой товарищ сказал: летом я видел лис в Воскресенском, ещё молодых, а мои говорят, что не помнят такого с шестидесятых, когда здесь возникли ракетные части. Кабаны же всегда здесь водились, но теперь они запросто шастают по деревьям, и никто им не удивляется: кабан и кабан. Природа пришла за нами, отвечал я, не будем противиться ей, а проследуем куда укажет; товарищ слабо смеялся и, отойдя к тёмному стволу, выбирал пальцами из-под коры дикий пчелиный воск. Он никогда не бывал особенно весел со мной, и, наверное, в этом лежал исток нашей разлуки: меня вырастили женщины, и я вечно лез к нему с женскими расспросами, жалостью и утешениями; теперь мне было важно не повторить этой ошибки. Я готов был простить ему всех его шкур, равно бывших и будущих, отпускать его на сейшена в гаражи и на дикие дачи к соратникам, никто из них всё равно не помешал бы мне: он не мог быть ничьим ещё, он мог быть только моим.

В честь случившейся встречи он отвёл меня далеко: незнакомым путём мы поднялись к месту, где пруд заужался до тесной протоки, терявшейся в огромной траве. Здесь было царство атласных стрекоз, от их сине-зелёного трепета рябило в глазах. Над

водой был устроен мост из железобетонной плиты, непонятно как донесённой сюда. Что будет, если пойти дальше, спросил я, готовый на многое; будет лес, безразлично ответил мой товарищ, что там ещё может быть: лес, лисьи кладбища, волчьи гаражи, нас не слишком-то ждут там. Ты же видишь эту плиту: как она здесь взялась, где поднять накладные, а лежит, и истлеет ещё нескоро; и мы смотримся в этом месте так же глупо, как и она, хорошо, что в нашем случае это хотя бы ненадолго. Я сказал, что, когда бы я мог, я бы задержался здесь пускай в виде отбитой плиты, и тогда же в плотном лесу по ту сторону от протоки шарахнулся такой звук, будто бы в нём двигали мебель: натужный скрип и треск сминаемых ветвей. Как всегда в моменты страха, я вдруг разглядел всё, что было вокруг, в самых мелких деталях и так понял, что ни один лист, ни одна паутина в лесу не шевелится; на мгновение я подумал, что всё это засада и что весь долгий путь сюда я проделал затем, чтобы больше не вернуться домой и в университет, но мой товарищ спокойно сказал: лучше будет уйти, и не надо смотреть так убийственно прямо, ты не на взвешивании. Я послушался и опустил глаза, но и трава под ногами была так ужасно подробна, что я просто зажмурился и попросил взять меня за руку; в голове разлилась нефтяная темнота, я забыл, как я здесь оказался, и хотел только, чтобы этот чудовищный скрежет не прозвучал снова. Вернёмся через дальний полигон, услышал я голос, это выйдет чуть дольше, зато надёжней.

Я не помню, как долго я шёл так, но когда открыл глаза, мы стояли на светлой просеке, кое-где переваленной упавшими стволами; по оба её края тянулись необобранные кусты ежевики, к которым мне не хотелось притрагиваться. Почему мы ушли, неудачно спросил я и тотчас поправился: что это было, меня давно так не пугали. Мой товарищ достал сигареты: ты же всё слышал сам; было то, что ты слышал. Я взбесился: но кто, на хер, ворочает эти шкафы или что там ещё, как это делается, отчего тебе сложно нормально сказать. Я не знаю, удивлённо ответил товарищ, но если тебе интересно, мы можем вернуться туда и попробовать выяснить это вместе. Озлобляясь ещё, я почти двинулся первым обратно к протоке, но почувствовал в воздухе перед собой словно бы ватную стену и остался где был. Ты как будто испытываешь меня, заговорил я пересохшим ртом, ты накопил себе навыков за полтора года, и вот применяешь; но я не могу на тебя обижаться, ты не можешь представить, как мне было пусто. Он промолчал в ответ и наконец обнял меня; после того, что случилось, мне стоило усилий не разреветься в его жарких руках.

Он ещё говорил о матери, о подделанной язве, о вечерней подвальной учёбе, о приработках на коттеджном строительстве, о мотоциклах: он действительно много чего нахватался, пока мы были порознь, я же употребил это время неизвестно на что, и даже то, что я успел прочесть или выдумать и записать, казалось мне шелухой. Но за мной был филфак, куда меня привела, конечно, не столько любовь к чтению, сколько моя неспособность к любым более-менее точным наукам: наши девочки, съезжавшиеся со всей области, были так себе, но их было так много, что это не могло не настраивать на хищнический лад, и я, все ещё заговаривая недавний испуг, начал рассказ о ничтожных сближениях, бывших у меня с ними за эти недели; чем дальше, тем больше я лгал и кривлялся, и когда сам почувствовал, что всё это стало просто смешно, признал наконец: ни одну из них я не держал даже за руку. Я не сомневался, отвечал мой товарищ, это бы тебя слишком обязало: ты бы не спал ночей, думая, что теперь с вами будет, как вы справитесь с этим у всех на глазах. Эта правда была, возможно, ещё страшнее той, что скрывалась за бешеным звуком в лесу, и мне не оставалось ничего, кроме как рассмеяться; ты легко можешь нравиться им, поспешил он меня обнадежить, тебе разве что нужно быть понебрежнее и убрать это штриховку над губой: я подумать не мог, что ты всё ещё это носишь. Я пообещал исправить всё, как он сказал.

Перед сном я взял мамину бритву и соскрёб с лица лишнюю поросль: я всегда боялся, что это непоправимо обезобразит меня, и, в целом, что-то такое и произошло, но это казалось уже неважно: зеркало говорило, что жизнь моя будет другой, может стать, не слишком уютной, но новой; мама, не зная, чем я был занят в ванной, ничего не сказала при виде итога, я счёл это за добрый знак. Несмотря на сегодняшний долгий поход, мне никак не давалось уснуть: я делал приседания, уходил к светлому от луны окну почитать бесполезный учебник, но всё было впустую, и не зная, куда ещё деваться, я вышел на балкон постоять над холодным двором. Ночь гнала облака к полигону, с другого конца улицы, от общежитий, доносило уродливые голоса. В чёрной сныти под окнами переступали ворчащие кошки. Лес почти не читался во тьме за убежищами, и только срезающиеся над ним облака выдавали его: помня, что мне было сказано, я стоял к нему боком, лицом во двор, чувствуя, как распухает его молчащее присутствие; наконец я понял, что сон одолевает меня, и потянулся к двери, а когда я уже входил в комнату, за спиной моей грянул опять звук перемещаемой мебели вместе с ветвяным треском. Пошатнувшись, я замер на мысках, но мне больше не было страшно; я вдруг догадался, что это не здесь: это мой слух был сейчас далеко, там, где через узкую воду перекинута одинокая плита.

Мы стали выходить, пусть ненадолго, почти каждый вечер, как в десять лет, когда мы впервые совпали на этой земле: в те времена в парке у пруда ещё догнивали остановленные аттракционы, и пока сюда не пригребали поздние посетители с жидкостями, мы могли лежать в их кабинах, как в лодках, разговаривая о планетах и живых мертвецах. Теперь здесь был устроен надувной вавилон, где молча бултыхались немногие дети: сезон завершался, прохожие голоса стыли в воздухе, отставая от своих хозяев. Мы по-прежнему гуляли с пустыми руками, нам было прекрасно и так; мы не боялись ни колдырей из девятиэтажек, ни гуртом возвращавшихся со стадиона борцов, к которым я сам был в недавние годы причастен: кто-то из них ещё, наверное, мог опознать меня, но и этого не случилось. Только что состоялся Беслан, я читал «Новую газету» так же с карандашом, сжимаясь от ярости, но ни разу об этом не заговорил: то, что мы были рядом, казалось важнее убитых детей и всего, что об этом писали.

Когда сумерки затопляли деревья, мы вставали у самой воды без какой-либо видимой цели, хотя я и рассчитывал про себя, что в собравшемся мраке на том или этом берегу в нашу честь снова что-то раздастся, обрушится или блеснёт. Всё, однако, оставалось спокойно вокруг, и даже никто из вечерних бродяг так и не подступил к нам; в одно из таких стояний мой товарищ, обращаясь скорее к воде, чем ко мне, рассказал, что в последние месяцы его и смешит, и пугает странная расстановка в его голове: ты же знаешь, объяснял он, обычно внутри у тебя спорят два голоса: драться или бежать, продолжать или расстаться, и в итоге один берёт вверх, но другой никуда не девается, он остаётся, это понятно; но я слышу, что в их разговор то и дело вмешивается кто-то третий, и он нравится мне, так сказать, меньше всех: в нём какое-то бабье ехидство, которому толком не возразишь; это как в школе, когда над тобой потешаются ссыкухи, которые ходят вчетвером в туалет, и ты ничего не можешь сделать, кроме как тоже пойти в туалет и проломить там кулаком перегородку. А как ты поступаешь теперь, когда приходит этот третий, спросил я невпопад. Мой товарищ посмотрел на меня, глаза его тонко сверкнули: я курю, сказал он почти виновато, и клацнул зажигалкой, разогнав слабую тьму у лица. Курил он много, и я мог только гадать, сколько из высосанных при мне сигарет были принесены в жертву этому третьему, которого я почти сразу представил себе в образе валета червей из русской колоды с одновременно пустым и пытливым взглядом.

Проводив его в тот день, я не пошёл как обычно к себе, а свернул ещё к лесу, сам не зная зачем; всё уже смеркло, и я остановился на самом краю, не теряя из виду посёлка. Тонко пахло остывшей землёй, долетал лёгкий дым от невидимого костра; в небе

над деревьями желтели размытые звёзды. В середине октября это всё начинало крошиться, ссыпаться в овраги и рытвины: нам повезло совпасть заново до того, как это должно было произойти. Я уже забыл думать о тех его новых друзьях с дачами и гаражами, они ничего не могли, но этот третий внушал мне не в пример больше тревоги: его недоступность была почти дьявольской, и стоя теперь у леса я прислушивался к себе самому, стараясь различить хотя бы те два честно спорящих голоса, будто бы положенных каждому, но внутри меня был ясно слышим только крохотный, ничего не выговаривающий свист. Похожий звук издавал кто-то из одноклассников, когда не знал, что отвечать у доски.

Обескураженный, я наконец отправился домой, и проклятый свист погас в шорохе районного песка под ногами. Двор был мёртв, я поднялся на свой этаж тихо, как в больнице, и увидел, что маршем выше спиной ко мне стоит светлоголовый человек в тёмной куртке: руки он держал в карманах, а локти торчали так, что на них было мерзко смотреть. Я брякнул ключами, но он не обернулся; тогда я, вдруг зарвавшись, топнул по лестнице, и тоже впустую: можно было подумать, что он был поставлен здесь ещё до того, как я поселился в этом доме, и собирался простоять так ещё много ночей. Остаться дольше было уже глупо, я отпер дверь и вошёл; мама высказала мне за позднее время, и я осторожно спросил, всё ли в порядке в нашем подъезде. Всё в порядке, отозвалась мама, что тебе показалось? Где-то что-то орали, легко соврал я, и ей стало неинтересно; ещё через время я снова высунулся в подъезд, словно решив проверить на ночь почтовый ящик: светлоголовый исчез, ничего по себе не оставив; можно было ложиться.

На выходных разразились дожди, и товарищ позвал меня к матери, заверив, что та крепко спит у себя в дальней комнате. Мы пили на кухне чай с сухой вьетнамской лапшой вместо пирожных; за столом я, хотя сомневался, рассказал о странной встрече на лестнице и о том, что не слышу внутри себя никакого разговора, а только мышинный писк, но скажи мне, настаивал я, как ты видишь себе этого твоего третьего, что он носит, как двигается, может быть, он похож на животное. Ты издеваешься, отвечал мой товарищ, если бы я ко всему ещё как-то его для себя рисовал, я бы сам сдался к Марку в двадцать пятую больницу, он с нами уже знаком. Понимаешь, он даже никак не звучит, этот голос, так что я не могу определить, мужской он или женский; главное, ему нравится надо мною глумиться, я порою смеюсь вместе с ним. Что же он говорит, например, обо мне, не сдержался я; мой товарищ заулыбался и полуотвернулся к слепому от дождя окну. Говорит, что ты жмёшься ко мне оттого, что тебе нужен кто-то, кто будет тебя защищать; что когда начинается давка в метро, ты вспоминаешь меня, и это даёт тебе силы держаться; говорит, что ты всё ещё не разобрался, а не гомик ли ты, и хотел бы попробовать это со мной, чтобы проверить себя.

Должно быть, я почернел с этих слов, но он всё не оборачивался ко мне и не мог ничего заметить. Я не буду, наверное, возражать, всё-таки сказал я, а если мама спит действительно крепко, мы и правда могли бы повозиться. Он вздохнул: потом ты станешь бояться, что это поймут в гаражах и изгонят меня, и хотя тебе не особенно нравится, что я бываю с кем-то ещё, ты всё же не хочешь, чтобы от меня отнялась эта часть. Здесь тем более не о чем спорить, отвечал я, смиряясь, и в тот же момент из дальней комнаты раздался зов, похожий на кошачий. Я задёргался, но товарищ сказал мне сидеть и ушёл; погода стало ясно, что он ведёт мать в уборную, и я вжался в стену, чтобы меня не увидели. Мать сложно загружалась и долго не просилась наружу, а когда наконец вышла, я успел разглядеть скомканное тело, у которого будто бы не было головы. Мой товарищ отвёл её обратно, уложил и вернулся ко мне.

Я спросил у него какой-то пустяк, чтобы рассеять мрачное облако, возникшее с появлением матери, а потом другой, но понял, что он озабочен чем-то ещё: я не знал, как спросить, но он доразлил чай и открыл мне сам, что его попросили помочь страсти долг,

оставшийся за одним гаражным приятелем, что погиб ещё в начале лета под Владимиром, не дожив двадцати. Родителям как будто дали время прийти в себя, но и к осени те ничего не вернули; и это не наши родители, пояснил мой товарищ, им есть что продать. Например, спросил я неожиданно для себя самого. Он слегка удивился: ну хотя бы машину, там бы всяко хватило, не какие-то дикие деньги; но они, кажется, решили за лето, что их не станут всерьёз доставать, и теперь даже не отвечают на звонки. Где они живут, спросил я, и мой товарищ встал из-за стола: нас отвезут, усмехнулся он, и ушёл курить на балкон.

Всё-таки он рассказал, что у родителей дом в ближайшей деревне, которую я знал только по имени на табличке автобуса, им под пятьдесят лет, монтажник отец зашит после пьяной аварии, мать что-то плетёт на продажу, у них есть ещё дочь: всё это было так непохоже на наш собственный опыт семьи, что мне оказалось нетрудно представить их если не прямыми врагами, то наверняка бесконечно чужими людьми. Моё любопытство, однако, смущало его, и в конце концов он проговорил: оставь это, пожалуйста, я тебя никуда не зову; я не знаю, поеду ли я туда сам. А что говорит твой третий, не отставал я. Мой третий уж точно не думал, что ты станешь напрашиваться мне в помощники, ответил товарищ, и я уже чувствовал, что победил.

Перед сном я вспоминал, как он передвигал мать по коридору, и запоздало понял, что сегодня впервые побывал в их квартире: в детстве мы ходили единственно к его старикам с «Лейкой» в серванте и внушительной библиотекой, из которой, однако, нельзя было вытащить ни одной книги, так плотно они стояли. Впрочем, я не был в комнатах, и теперь мог воображать их паучьими норами, пещерами, полными пепла; во сне же я мучительно поднимался на их этаж и всё не мог дойти, а когда дошёл, перед дверью увидел знакомую спину с белёсым затылком над ней, и колени мои подогнулись, я посыпался вниз, давя лестничных кошек, вывалился под серое уличное небо и долго лежал так с распахнутым ртом, куда не хотел попадать вялый дождь. Утром я обнаружил, что товарищ писал мне: *esli хо4ew', ty mojew' роехат' so mnoi dlä koli4estva, no podumaï ewë*. Думать было особенно не над чем, я послал в ответ короткое *Edem*.

На неделе он скатался в гаражи и пришёл на прогулку с уродливо распёртым рюкзаком; когда мы встали у воды, он с трудом расстегнул его и показал: внутрь были затолканы две пластиковые палки довольно позорного вида. Это не для них, объяснил он, но если выбежит собака, то придётся работать по ней. Собак мы не любили оба, здесь всё было просто, но я всё ещё не понимал, что мы будем делать с родителями, и спросил его прямо. Это будет ясно на месте, пообещал мой товарищ, сложно что-то представить заранее. Я не стал возражать, хотя мне и не нравилась эта неопределённость; оказалось ещё, что до деревни нам предстоит добираться самим, а обратно нас всё же вернут, машина будет стоять рядом в лесу. Всё должно было произойти вечером четверга, послезавтра, и я ждал совета, как лучше потратить оставшееся время, но товарищ не стал ничего мне подсказывать и убрался к матери раньше обычного, обмолвившись, что та и так еле его отпустила.

Дома я сказал, что завтра поеду ко второй, а утром, одевшись посвободней, ушёл на школьный двор, к военным яблоням: ещё не начались заморозки, и всё опавшее в траву пахло широко и вместе остро. Здесь я бросил сумку и принялся бегать по старому пыточному кругу вокруг сада, школы и футбольного поля за ней: кроссы все ненавидели и без жалости закладывали тех, кто срезал углы, ускользавшие от физкультурницы. Неизвестно с чего в этот раз мне бежалось прекрасно, а прежние старты казались далеки как война: яблоки усыпали братское кладбище моих одноклассников, шумящее подобно морю на рассвете, и я не стыдился, что мне повезло задержаться в живых. Я вспоминал их, лежавших в бинтах на железных кроватях, повторявших одну-две фразы или тупо глядевших в потолок и окно; я носил им какие-то книги, читал вслух, присев рядом,

вызывал на откровенность и говорил гадости, но ничем не мог вырвать их из забытья. Весь наш выпуск, конечно, не стоил одного пятна нейродермита на щеке моего товарища. На четвёртом кругу имена их слиплись в одно мучительно длинное, а на пятом рассыпались на слоги и буквы; я мог бы бежать ещё, но решил побереечь себя перед завтрашним выездом.

Стоит ли говорить, что в четверг я всё равно проснулся больным, было сложно обуться и вообще куда-то идти, я сто раз пожалел, что устроил себе этот забег. Пропустить ещё день в университете представлялось безумием, я ввалился на факультет как инвалид в набитый автобус, высидел три глухонемые пары и уехал обратно с вокзальной выпечкой, обжигающей рот. На последней московской станции против меня села девочка с блочной тетрадью, через развороты которой протягивались гирлянды бензольных колец: ни у одной из филфаковок не было таких взыскательных глаз, ни таких длинных пальцев, она была так увлечена своими записями, что я мог следить за ней вполне неприкрыто, и уже скоро мне захотелось отвлечь её и рассказать, куда я сейчас еду и в чём буду задействован вечером, потому что терпеть это, понял я вдруг, больше было нельзя. Когда она единственный раз подняла на меня глаза, губы мои разжались сами собою и издали, кажется, тот самый свист, что я распознал в себе тогда возле леса; по счастью, поезд гремел на перегоне, и она не могла ничего услышать. Я закрыл глаза и как будто задремал, что вообще получалось в дороге нечасто, а когда очнулся, её не было передо мной.

Уже сидя в деревенском автобусе я понял, что с начала дня никак не связался с товарищем, который должен был ждать меня где-то месте, хотя и без точного ориентира: я стал набирать сообщение и прервался, подумав, что вся история с невозвращённым долгом была, возможно, изобретена для испытания моей верности после полутора лет разлуки. День темнел, как бумага в воде, за городом я не узнавал ни полей, ни складов; нужно было смотреть указатели, чтобы не промахнуться. С нашими пенсионными книжками мы могли бы бесплатно объехать всю область, учинить по засаде в каждом из этих мест, обозначенных белой или синей табличкой у шоссе. Мы жили на никакой земле, которой мы не любили, и это был наш лучший шанс породниться с ней, думал я: кто ещё ей так близок, как вечерние люди в спортивных куртках, исчезающие во мраке после трудного дела. Когда я сошёл на остановке, пропустив вперёд местных, солнце уже опускалось за лес, серая пелена укрывала деревню, лежащую в беззвучной низине; метрах в двухста по правому её краю чернела тощая водонапорная башня, и я, уже мявший в руке телефон, догадался, куда мне идти.

По дороге, обнимаемый по пояс просёлочной пылью, я почти забыл, зачем приехал сюда. Рядом не было слышно ни людей, ни собак, и только лес темно гудел впереди, вырастая мне навстречу, то вдруг скрадывая водонапорку, то опять обнажая. Если бы мне было хоть немного страшно, я бы, наверное, разглядел хотя бы стволы в его толще, но я шёл спокойно, как будто к себе домой, и не различал даже досок в заборах по левую руку. Потом заборы прекратились, настало поле, в котором низко виднелись останки техники; дорога начала забираться ещё вправо, башня словно бы отстранялась, и я прибавил шагу, чтобы нагнать её, когда меня окликнул мой товарищ: он сидел на поваленном дереве на краю поля, вытянув ноги, рюкзак стоял рядом в траве. Я подошёл, и он поднялся, улыбаясь так, как будто вёл племянника в публичный дом, о чём я не преминул ему сказать. Оставь свои шутки для них, отвечал мой товарищ, махнув рукой в сторону слабо подсвеченных домов, а лучше помолчи и там, так будет по-любому надёжней; говорить буду я, а ты просто смотри, но они должны понимать, что ты их ненавидишь, сделай такие глаза; если разговор не получится, делай всё то же самое, что буду делать я, и не медли; ничего не придумывай сам, это совсем ни к чему здесь; они скоро приедут, идём.

Мы двинулись через поле, я шёл позади, и меня подмывало спросить, как там жив его третий, но я удержался. От спины его, словно сложенной из кирпича, исходил тяжёлый мужской уют, который я мог только впитывать, но не производить сам. Вступив в деревню, мы прошли совсем немного и встали в каком-то дощатом кармане между двух дворов; здесь их дом, показал мой товарищ куда-то в темноту, в это время они возвращаются из города. Сняв с плеча рюкзак, он вручил мне оружие, и я удивился, каким лёгким и хлёстким оно оказалось: простой хлопок по ладони заставлял подскочить от боли. Хорошо умирает пехота, сболтнул я, и товарищ вновь улыбнулся сомнительной улыбкой, как до этого в поле; мне стало мутно, я решил ничего больше не говорить, пока всё не закончится.

Раскачиваясь на ногах, я чувствовал, как каменеет под ними земля, сколько в ней тяжести и глубины: вплоть до этого дня я считал её просто плёнкой из асфальта и пыли, но сейчас всё было другое; и тогда мы слышали их. Невидимая за щитами заборов, машина ползла, заикаясь на ухабах. Когда свет их фар пролился в траву перед нами, я шагнул вперёд, но остановил меня. Морда автомобиля опасно высунулась слева и тотчас же повернулась к нам, ослепляя: между ними и нами оставалось всего два десятка шагов, они больше не двигались, и я представил, как водитель тянет из бардачка свой травмат, хищным шёпотом матеря обоссавшуюся жену. Он не станет орать нам, угрожать или уговаривать, а просто выстрелит в того, кто будет к нему ближе. Я люблю тебя, сказал я товарищу, я тебя очень люблю. Я решил не шадить никого.

Надеясь хоть что-то предупредить, я подбежал к водительской двери и от ужаса, что ли, срубил с неё зеркало, отлетевшее далеко прочь. В машине было темно, как в яме, нам стоило прихватить с собою фонарь. Ошалев, я стукнул в дверь коленом и тотчас отпрыгнул, занеся меч над плечом, но никто не спешил ко мне выйти. Уже задыхаясь, я дёрнул и распахнул дверь, готовый, если понадобится, вытащить наружу всех, кто окажется внутри. Сиденья были пусты. Запах хвойного освежителя висел на холоде, чуть болтался брелок. Глупея всем телом, я потянул ручку задней двери, но поселян не было и в этом ряду: только начатая бутылка минеральной воды и бесплатная газета, как будто веками обретавшиеся здесь, не в силах перегнать. Я поднял голову, глядя поверх заборов. Ночь ещё не сошлась до конца, и дымная полоса маялась в небе. Не зная, что ещё делать, я взобрался на скользкий капот, а оттуда на крышу машины: моего большого человека не было нигде.

Пот стекал по спине, в горло словно набился песок. От меня пахло палёным пластиком, порохом отсвиставшего фейерверка; я задрал голову как можно выше, чтобы только не чувствовать это. Лес, казалось мне, должен был наконец прозвучать, озариться, но всё было так глухо, как я ни прислушивался, вытягиваясь в немой восклицательный знак. Рукоять меча осклизла в руке, я уронил его вниз и спустился сам, достал воду и долго пил, повиснув на двери. Я не собирался торчать здесь всю ночь, спать на заднем сиденье, просыпаться в бреду. Пересказывать, что мы успели, по двадцатому и тридцатому разу; писать и переписывать заново длинные стихи. Лежать в медвежьих сугробах с выставленной во тьму рукой. Мне было лучше скорее уйти; но я так никуда не ушёл.